



*Послевоенные активисты
(журналы: «Российский демократ»
и «Грани»)*

С. П. МЕЛЬГУНОВ

Неожиданная революция

27 февраля семнадцатого года было поворотным моментом в нашей истории. Перестал существовать вековой «старый порядок», и перед страной открылся новый путь строительства демократического государства. Прошло тридцать лет, и Россия еще дальше, чем тогда, отстоит от осуществления заветов демократии. Мы не предполагаем касаться причин, объясняющих столь горькие для нас итоги, не собираемся углубляться и в обстановку, породившую февральский катаклизм. Предлагаемая историческая справка имеет иную цель. Мы хотим лишь дать конкретную иллюстрацию к утверждению, которое не может не иметь жгучего интереса современности: никто не знает ни дня, ни часа, когда лучи нового «солнца мартовской революции» смогут пробиться сквозь гнилостный туман советской действительности. (См. статью «О путях России». Сб. 5¹.) Мы всегда должны быть готовы, ибо в «большевицкой» России ненависти накопилось несравненно больше, чем в России «царской». Правда, история лишена дара точного предвидения событий, так как в судьбах народов нет фатализма. Но обзор прошлого свидетельствует подчас чрезвычайно ярко, что величайшие события бывают неожиданны для современников. Так было в дни февральского переворота 17 года.

Легенда о планомерной подготовке его какими-то организованными общественными силами решительно должна быть отвергнута — она противоречит фактам. Этот миф о Феврале косвенно попытался возродить в наше время В. А. Маклаков в отрывке воспоминаний «Канун революции», напечатанном в «Нов. журнале» (№ 14)². Он рассказал, как «в последний час старого строя» самой властью был «сорван» предложенный им «план избежать Революции». Оставим в данном случае в стороне анализ переговоров с членами правительства, которые секретно, за своей

личной ответственностью, вел «думский златоуст» в воскресенье 26 февраля. Версия, данная мемуаристом, требует значительного уточнения. По существу «план» заключался в том, чтобы добиться отсрочки на день созыва экстренного заседания резко оппозиционно настроенной Гос. Думы и дать возможность тем временем министрам снести с находившимся в Ставке главой государства о реорганизации правительственного кабинета на новых началах. Положение закулисного парламентаря было щекотливо. Маклаков вспоминает, что его выступление в бюро прогрессивного блока вызвало большое раздражение. Один из присутствующих, «потом бывший министром, который от революции мог все потерять», с упрёком ему говорил: «Что вы делаете? На фабриках сейчас происходят выборы депутатов. Мы накануне революции, а вы ее хотите сорвать». «Таковы были тогда настроения», — умозаключает мемуарист. «Таковыми» не были тогда настроения — и можно с категоричностью утверждать, что память мемуариста очень произвольно воскрешает тогдашнюю обстановку — никаких делегатов в Совет Раб. Деп. на фабриках не выбирали.

26 февраля никто не думал, что Россия накануне революции. Представители власти в этом отношении были слепы не больше, чем лидеры оппозиционной и революционной общественности. В историческом аспекте можно признать, что современники в предреволюционные дни недооценивали сдвига, который произошел в годы войны не столько под влиянием пропаганды революционных партий, сколько под воздействием оппозиции Гос. Думы, демагогически привившей общественному мнению мысль, что национальным судьбам России при старом режиме грозит опасность. В политической близорукости, быть может, повинны все общественные группировки, и старый порядок был для России, действительно, уже политическим анахронизмом, но от установления такого факта несколько не изменится суть дела: февральские события в Петербурге, их размах, отклик на них и итоги оказались решительно для всех неожиданными — «девятый вал», по признанию виднейшего историка-народника Мякотина (в первом публичном выступлении после революции), пришел тогда, «когда о нем *думали меньше всего*». Случилось «невероятное», как выразился Милюков в своей речи 3 марта в екатерининском зале Таврического дворца.

* * *

Конечно, теоретически о грядущей революции всегда говорили много — и в левых, и в правых, и в промежуточных либеральных кругах. Предреволюционные донесения агентами департа. полиции

и записи современников полны таких предвидений и пророчеств — некоторым из них нельзя отказать в прозорливости: настолько они совпали с тем, что фактически произошло. Но в действительности подобные предвидения не выходили за пределы абстрактных расчетов и субъективных ощущений того, что Россия стоит «на пороге великих событий». Если циммервальдец Суханов был убежден, что «мировая социальная революция не может не увенчать собой мировой империалистической войны», то его прогнозы, в сущности, лежали в той же плоскости, что и размышления в часы бессонницы в августе 14 г. историка в. к. Ник. Мих., записавшего в дневник: «К чему затеяли эту убийственную войну, каковы будут ее конечные результаты? Одно для меня ясно, что во всех странах произойдут громадные перевороты, мне мнится конец многих монархий и триумф всевозможного социализма, который должен взять верх, ибо всегда высказывался против войны».

Писательница Гиппиус занесла в дневник 3 окт. 16 г.: «Никто не сомневается, что будет революция, никто не знает, какая и когда она будет, и не ужасно ли? — никто не думает об этом». Во всяком случае, не думали потому, что вопрос этот в конкретной обстановке в сознании огромного большинства современников не был актуален — и близость революции исчислялась не днями и даже не месяцами, а, может быть, «годами».

Говорили о «революции» после войны (Шкловский). Даже всевидящий Ленин, считавший, что всемирная империалистическая война является «всесильным режиссером», который может ускорить революцию («Письмо издалека»), за два месяца до февральского переворота в одном из своих докладов в Цюрихе сделал обмолвку: «Мы, старики, быть может, до грядущей революции не доживем»!

По наблюдению французского журналиста Анэ, каждый русский предсказывал революцию на следующий год, в сущности, не веря своим предугадываниям. Эти обывательские толки, поднимавшиеся до аристократических и придворных кругов, надо отнести в область простой разговорной словесности, конечно, показательной для общественных настроений и создававших психологию ожидания чего-то фаталистически неизбежного через какой-то неопределенный промежуток времени. Революционный жупел, поскольку он выявлялся с кафедры Гос. Думы, здесь был приемом своего рода педагогического воздействия на верховную власть в целях принудить ее капитулировать перед общественными требованиями. По существу, мало кто верил, что то, «чего все опасаются», может случиться. Недаром фельетонисту «Рус. вед.» стало «скучно» от «академических» речей, произносимых

по «обязанности» в традиционном духе изобличения режима на последних заседаниях Гос. Думы. На него повеяло духом какой-то «безнадежности». Рокота нарастающей революционной бури не слышалось и в тех «ужасных» словах трудовика Керенского, за которые, по мнению Алек.<сандры> Фед<оровны>, его надо было повесить...

* * *

«Революция застала врасплох только в смысле момента», — пытался утверждать Троцкий в своих исторических трудах. Но в этом и была сущность реального положения, предшествовавшего 27 февраля. Несомненен факт, устанавливаемый Сухановым, что ни одна партия непосредственно не готовилась к перевороту. Будущий левый с.-р. Мстиславский выразился еще резче: «Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими». Большевики не представляли собой исключения — накануне революции, по образному выражению их историка Покровского, они были «в десяти верстах от вооруженного восстания». Правда, перед созывом февральской сессии Гос. Думы они звали рабочую массу на улицу, на Невский, противопоставляя свою демонстрацию в годовщину дня суда над с.-д. депутатом 10 февраля проекту оборонческих групп «хождения» к Думе 14 февраля. Но фактически это революционное действие не выходило из сферы обычной пропаганды стачек, протеста и пр. Нельзя обманываться лозунгом: «Долой царскую монархию» и «Да здравствует Временное рев. правительство» и т. д. — то была лишь шаблонная присказка всякой прокламации, выходившей из революционного подполья. Рабочие не вышли на улицу. Быть может, свою роль сыграла агитация думских кругов, выступивших с предупреждением о провокационном характере призывов*, но еще в большей степени полная раздробленность и тактическое расхождение революционных штабов. Характерно, что близкие большевикам так называемые «междурайонцы» в особенном листке, выпущенном 14 февраля, признавали нецелесообразным общее революционное выступление пролетариата в момент неизжитого тяжелого внутреннего кризиса социалистических партий, в момент, когда не было основания рассчитывать на «активную поддержку армии». «Обычное», конечно, шло своим чередом, ибо революционные штабы готовили массы к «грядущему выступлению». И тот же междурайонный комитет с.-д. в «международный

* См. мои книги «На путях к дворцовому перевороту» и «Золотой немецкий ключ к большевицкой революции».

день работниц» 23 февраля (женское «первое мая») выпустил листовку с призывом протеста против войны и правительства, которое, «начав войну, не может ее кончить». Но партийные комитеты были далеки от мысли, что «женский день» может оказаться началом революции, и не видели даже «цели и повода» для забастовок (свидетельство рабочего Каюрова, состоявшего членом Выборгского районного комитета большевицкой партии).

Уличные демонстрации, если не вызванные, то сплетавшиеся с обострившимся продовольственным кризисом, были тем не менее поддержаны революционными организациями — правда, «скрепя сердце», как свидетельствует Каюров, причем «в тот момент никто не предполагал, во что оно (это движение) выльется». Если о Совете Раб. Деп., который должен «начать действия к вечеру 27-го», говорили, напр., на рабочем совещании 25-го, созванном по инициативе Союза рабочих потребительских обществ и по приглашению с соц.-дем. фракцией Госуд. Думы, то этот вопрос стоял в связи с продовольственным планом, который одновременно обсуждался на совещании Городской Думы, а не с задуманным политическим переворотом, в котором Совет должен был играть роль какого-то «рабочего парламента». (Очевидно, тогдашняя городская молва о выборах на отдельных заводах неких делегатов рикошетом и откликнулась в воспоминаниях Маклакова.) Реальный Совет Р. Д. возник лишь 27-го «самочинно», как и все в этот день, вне связи с только что отмеченными предположениями, — инициаторами его явились освобожденные толпой из предварительного заключения лидеры оборонческой «рабочей группы» Ц. Воен. Пром. Ком.*.

Как не расценивать роль революционных партий в стихийно нараставших событиях в связи с расширявшейся забастовкой, массовыми уличными выступлениями и обнаружившимся настроением запасных воинских частей, все же остается несомненным, что до первого официального дня революции «никто не думал о близкой возможности революции». «То, что началось в Питере 23 февраля, почти никто не принял за начало революции», — вспоминает Суханов: «Казалось, что движение, возникшее в этот день, мало чем отличалось от движения в предшествующие месяцы. Такие беспорядки проходили перед глазами современников *многие десятки раз*». Керенский вспоминает (в книге «L'Expérience Kerenski»), что вечером 26-го у него собралось «информационное

* Они были арестованы в дни февральских демонстраций по представлению Охр. отд. в качестве «подпольного замаскированного центра». Эта близорукая тактика лишь осложнила и обострила положение.

бюро» социалистических партий — это отнюдь не был центр действия, а лишь место для обмена мнениями как бы «за чашкой чая». Представитель большевиков Юренев категорически заявил, что нет и не будет никакой революции, что движение в войсках сходит на нет и надо готовиться на *долгий период реакции*. Слова Юренева (их приводил раньше в воспоминаниях Станкевич) были сказаны в ответ на указание хозяина квартиры, что необходимо подготовиться к важным событиям, так как мы вступили в революцию. Были ли такие предчувствия в действительности у Керенского? В другой книге, изданной в том же 36-м году, он по иному определял положение: даже 26 февраля — пишет он в «*La Verité sur le massacre des Romanov*» — никто не ждал революции и не думал о республике. Соратник Керенского по партии, участник того же информационного бюро, Зензинов, в воспоминаниях, написанных в первые дни революции («Дело народа» 15 марта 17 г.), подтверждал второе, а не первое заключение Керенского. Он писал, что «революция ударила, как гром с неба, и застала врасплох не только правительство и Думу и существующие общественные организации... Она явилась великой и радостной неожиданностью и для нас революционеров. События, происходившие в столице, рассматривались как нечто “обычное”, и никто не предчувствовал в этом движении грядущей революции!» Не показательно ли, что в прокламации, выпущенной междурайонным комитетом 27 февраля, рабочая масса призывалась к организации «всеобщей политической стачки протеста» против «бессмысленного», «чудовищного» преступления, совершенного накануне, когда «царь свинцом накормил поднявшихся на борьбу голодных людей» и когда в «бессильной злобе сжимались наши кулаки» — здесь не было призыва к вооруженному восстанию.

* * *

Предреволюционные события потому принимались за «обычное», что они не происходили с той напряженностью, которую придали им некоторые позднейшие мемуарные и исследовательские перья. Только издали в атмосфере заграничного неведения можно было драматизировать события и говорить о «неделе кровавых боев рабочих», как писал Ленин в середине марта, повторяя гиперболу, допущенную советскими «Известиями» 8 марта при описании «боевых дней». (После через много лет эту гиперболу повторил без должной критики Чернов в своем «Рождении февральской революции».) Если в канун революции к вечеру столица местами действительно напоминала собой «боевой лагерь» — всюду патрули, заставы, разъезды конницы, то эта внешность отнюдь

не свидетельствовала о подготовленности правительства к кровавому подавлению беспорядков, провокационно вызванных. Никчемную легенду, нашедшую отклик в исторических трудах Милюкова (ее воспроизвел и Чернов), давно следует сдать в архив. «Протопоповские пулеметы», стрельба по демонстрантам из «неведомых засад», с колоколен, из верхних этажей домов и пр. существовали лишь в взбудораженном воображении современников. Если не по соображениям сантиментальным, то по соображениям целесообразности миролюбивая политика была общим девизом правительственной власти в февральские дни. Игнали роль и сознание ненадежности войск (армия во время войны представляет собой «вооруженный народ», — отмечали Алексеев и Рузский) и общее возбуждение политических настроений, охватившее офицерские кадры, и еще в большей степени сознание риска вступить в период войны в междуусобную войну. События на внутреннем фронте не казались вовсе столь грозными для существовавшего государственного порядка, чтобы идти на такой риск. В силу такой психологии военная власть в лице командующего войсками Хабалова и военного министра Беляева предпочитала действовать при посредстве казацких ногаек, чтобы «обойтись без кровопролития». Со слов главнокомандующего северным фронтом, в ведение которого входила столица, в. кн. Андрей Вл. занес в дневник, что, по мнению ген. Рузского, применение оружия при беспорядках может иметь «лишь ужасные последствия, учесть кои вперед нельзя». Сама нимфа-эгерия имп. Николая II, энергично настаивая на том, чтобы муж ее проявлял «твердость», писала 25-го: «Не надо стрелять, нужно только поддерживать порядок». И характерно, что если более или менее точно известно число членов полиции, потерпевших в дни 22–25 февраля, то нет никаких указаний (даже у мемуаристов) о пострадавших среди демонстрантов. В воспоминаниях того же Каюрова, активного участника и руководителя уличных выступлений, имеется даже такая фраза: «Потерь с нашей стороны я не замечал». Вероятно, в такой только обстановке мог родиться план «уличного братания» забастовщиков с солдатами. В этой обстановке, когда начало казаться, что власть «явно запускала движение», утверждалась и легенда о правительственной «провокации»*.

* «Глупыми и слепыми вывертами» назвал в свое время (23 февраля) дневник Гиппиус «кадетскую версию о провокации для оправдания сепаратного мира». Но гипноз был настолько силен, что Милюков даже в своих августовских показаниях Чрез. Сл. Ком. признавал, что «события 26–27 фев. застали нас врасплох... Было совершенно ясно, что инсценировалось что-то искусственное».

25-го в Петербурге произошла первая стрельба. Войска начали действовать оружием, так как встречаемые толпой камнями, поленьями и кусками льда, не могли оставаться живой «мишенью» для нападения. Они стреляли так, чтобы пули падали впереди толпы, тем не менее, по официальному сообщению, на Невском у Гостиного двора 3-е было убито и 10 ранено. Слухи о кровавых жертвах вызвали взрыв негодования. Вечером в открытом собрании в Городской Думе, на котором обсуждался вопрос о передаче продовольствия города в общественные руки, при нервно-повышенном тоне присутствующих, член Гос. Думы с.-д. Скобелев патетически клеймил правительство, которое «борется с продовольственным кризисом путем расстрела едоков». При бурных аплодисментах он заканчивал: «Правительство, пролившее кровь невинных, должно уйти». Председатель Гос. Думы Родзянко обратился к главе правительства и к военному министру с просьбой или требованием, чтобы «стрельба в народ завтра не повторялась».

Но события в воскресенье 26-го приняли более драматический характер. Войска на Невском действовали уже активнее, чем в предшествовавшие дни. Снова были убитые и раненые. По сведениям командующего войсками, жертв насчитывалось 40. Сведения преуменьшены? — известное количество раненых толпа всегда уносит с собой. Возможно. Однако один из участников уличного движения тех дней рабочий Кондратьев, член большевицкой партии, не проявляет тенденции оспаривать официальные цифры — он даже их уменьшает. Мемуарист, не следящий строго за своими словами, с легкостью скажет, что 26-го пехота «довела ружейный огонь до огромной интенсивности», Невский, «*покрытый* трупам невинных, ни к чему не причастных людей был очищен» (Суханов), а историк (Чернов) воспроизводит ходячую молву того времени, исчислявшую жертвы в воскресенье 26-го «тысячами». Действительность была иная. В изображении Кондратьева 26-го на Невском лишь «небольшая группа студентов и рабочих» пыталась устроить демонстрацию. После разгона ее «уже не было никаких попыток» уличных выступлений — на Невском была «пустота», и только по панели ходили вооруженные патрули и разъезжала конница. Очевидно, наблюдавшие небольшой сектор действия склонны обобщать. По официальным сведениям полиции (их ген. Мартынов, автор одной из лучших работ по фактической истории февральских дней, заимствовал из материалов Чр. Сл. Комиссии), стрельба была на Невском в воскресенье в четырех местах и число жертв было больше, нежели указывает, с одной стороны, Хабалов, а с другой — Кондратьев. Но и эта поправка не может изменить общей картины.

В руководящем большевицком подполье казалось, что «правительство победило», и был поднят вопрос о прекращении забастовок и демонстраций. Поэтому так определенно высказался вечером у Керенского представитель большевиков. Легкомысленный Протопопов не так уже был неправ, когда уверенно говорил, что рабочие встанут на работу. Он правильно оценивал реальное положение. «Правительство победило», поэтому и отвергнут был в конце концов в Совете министров компромиссный план московского депутата. Но современники не учли того психологического шока, о возможности которого предупреждал ген. Рузский и который превратил на другой день уличные беспорядки в торжествующую революцию. Победу революции предопределило не бездействие власти, не сознание, что власть бессильна подавить движение. Поворот в массовой психологии совершило кровопролитие 26-го. Суханов рассказывает о том сильном впечатлении, которое произвели уличные события на совещании вечером у Горького людей разных общественных кругов. Ему показалось в то время даже «странным», что «расстрелы» вызвали такую «яркую реакцию полевления среди всей буржуазной политиканствующей массы». В сущности, на той же почве произошло 27-го стихийное выступление волынцев, увлекшее за собой часть Преображенского и литовского полка. Случайный снежный ком вызвал лавину: «Если войска станут на сторону забастовщиков, — предостерегал доклад Охр. отд., — ничего не спасет от революционного переворота». Началась революция, и сила влияния была уже не у тех, кто искал компромисса. Произошло то, чего никто не ожидал.

